



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### 1

Поезд пришел точно по расписанию, но Вари не оказалось на перроне. Кое-как перебравшись с багажом в сторону, Поля долго искала в толпе это исполнительное и доброе существо, милейшее на свете после мамы.

Конечно, ее задержала какая-нибудь беда или заболевание... но что могло случиться со студенткой в Советском государстве, где, кажется, самая молодость служит охранной грамотой от несчастий? Какая хворь пристанет к двадцатилетней девушке, еще недавно дальше всех толкнувшей ядро на межрайонном спортивном состязании? Верно, забыла завести будильник с вечера и сейчас, расталкивая пассажиров и чужую родню, мчится по вокзалу, чтобы с разбегу обнять подружку... Однако уже и схлынула обычная по приходе поезда суматоха, а Вари все не было.

Поля решила своими силами добираться по записанному на бумажке адресу. И сперва ей никак не давался чемодан с оторванной скобкой, а потом выяснилось, что не хватает рук на узелки и свертки: так всегда бывает, когда провожают четверо и не встречает никто. Она растеряла бы половину вещей, если бы откуда-то сверху не свалился к ней чумазый паренек с комсомольским значком на спецовке, — явно не носильщик. Повесив через плечо спальный саквояж и мешок с шубкой, накрест перехваченный веревкой, он вскинул чемодан под мышку и двинулся по опустевшему перрону так обыкновенно, словно это повторилось у него изо дня в день. Привыкнув к маленьким удачам, сопровождавшим ее всю дорогу с Енги, Поля молча покорила чудесному вмешательству.

Благодетель попался на редкость неразговорчивый, и, с одной стороны, это было неплохо, так как чудеса всегда тускнеют от объяснения, а с другой — все же полагалось ему, хотя бы из учтивости, справиться если не об имени приезжей, то, по крайней мере, о цели прибытия в столицу, тем более что Поле не терпелось поделиться с кем-нибудь планами жизни на ближайшие сто — двести лет. Чуть забежав вперед, она извинилась за подвязанный к саквояжу чайник, потому что он бил по колену и бренчал крышкой, выбалтывая свои провинциальные новости, но молодой человек сдержанно успокоил Полю в том смысле, что и в старину бабушки ездили в Москву со своими самоварами. Выйдя же на улицу заметно в испарине, он уже сам осведомился у спутницы, не дровец ли или бутового камня прихватила она с собой в качестве гостинца столичной тетке. Пока онемевшая от его дерзости Поля собиралась выпустить ответные коготки, они уже добрались до троллейбуса.

Теперь чудеса пошли так густо, что и не различишь, где кончалось одно и начиналось другое. Голубой сверкающий вагон на воздушных колесах и с предупредительно распахнутой дверцей поджидал Полю у остановки. Не успела войти, билет взять, как ее багаж сам собой разместился внутри, и, несмотря на переполнение, даже нашлось местечко у окна, приспущенного из-за жары. Поле не хотелось уезжать, не отплатив по заслугам молодому человеку, и троллейбусное начальство тотчас предоставило ей время для беглого сведения счетов.

— Скажите, пожалуйста, сколько я вам должна за этот ваш... ну, подвиг? — спросила она через окно, с притворно озабоченным видом роясь в стареньком мамином кошелке.

Паренек поднял глаза, и вначале Полю поразило его удивительное сходство с Родионом: они у него были такие же строгие, зеленоватые, с задорными искринками на лобнышке — и та же подкупающая привычка глядеть прямо в лицо при ответе. Правда, этот был моложе и ростом чуть пониже ее приятеля; лишь копоть да рабочая одежда придавали ему видимость старшинства, а на деле, если бы его

помыть немножко, он оказался бы разве только на годок старше Поли, совсем мальчишка, видимо из щегольства решивший не улыбаться никогда. Нет, этому далеко было до Родиона; тот не посмел бы с первого раза потешаться над малознакомой девушкой, несколько оробевшей от счастья, как и должно быть при исполнении желаний.

— Ровно ничего! Просто меня губит любопытство — наблюдать из будки — и жалостливое сердце ко всем, попавшим в безысходную беду... — невозмутимо отозвался благодетель. — Я кочегар на паровозе, который вас привез в Москву.

Тогда, не умея изобрести чего-нибудь поядовитей, Поля посоветовала ему торопиться назад, а то вокзальные жулики уведут у него паровозишко, пока он ухаживает за незнакомыми девицами, и ему придется тысячу лет выплачивать из жалованья. Склонив голову набочок, молодой человек сочувственно кивал на ее жалкие потуги мести, пока она сама не покраснела от бессилия и досады. По счастью, водителю удалось наконец накинуть на провод соскользнувшую дугу. Машина плавно тронулась в путь, и Поле сразу стало легко и радостно от солнышка, от встречного ветерка, от обилия заманчивых приключений, ожидавших ее в будущем, а в душе на все лады пелась любимая ее поговорка, эпитафией надписанная в дневничке: «И вот былинку понесла река!»

Лишь теперь Поля с удивлением заметила, что все ее новые попутчики чему-то улыбаются с такими осветленными лицами, словно слушают переключку ранних птиц в лесу, еще обрызганном росой. Никто не смотрел в Полину сторону при этом, но, значит, каждому из них уже известны были ее безоблачные обстоятельства и благороднейшие намерения, тем в особенности завидные, что все у ней было впереди... Видимо, всем, от кондукторши до сурового усача в разлеталке и черной стариковской шляпе, может быть, профессора из того учебного заведения, куда собиралась поступать Поля, — всем им было лестно, что такая привлекательная девушка, как Аполлиария Вихрова, отныне поселится в их превосходном городе и станет вникать в разные полезные науки, на радость маме, Ленинско-

му комсомолу и всему их великому отечеству. Так что едва Поля осведомилась вполголоса про Благовещенский тупичок, где проживала Варя Чернецова, все наперебой, и даже немножко ссорясь, принялись объяснять ей дорогу, причем, так совпало, ко всеобщему удовольствию, две Полины соседки ехали в ту же многоэтажную новостройку, потому что работали как раз во дворе дома 8-а, в швейной мастерской, а профессор, оказавшийся зрителем чего-то, имеющего почти оборонное значение, даже и квартировал там, в деревянном особнячке наискосок... Словом, чуть ли не каждому в то утро оказалось с Полей по пути.

Все четверо они вышли на остановке и двинулись по солнечной стороне, добросовестно поделив Полину кладь. Присмирившая, подавленная великолепием московской улицы, Поля шла посреди, едва ступая, словно боялась повредить какое-нибудь всенародное имущество, и стараясь запоминать подробности для вечернего отчета маме на Енгу. Слепительный милиционер придержал поток машин, пока шествие перебиралось через перекресток; наряднейшие здания мира высились по сторонам, и из всех, сколько их там было, распахнутых окошек гремела одна и та же торжественная радиомузыка с единственно возможным названием — *приглашение к жизни*. В то лето вдобавок было ужасно много цветов: на любом углу — в киосках, на лотках и прямо с рук — продавали целые копны цветов с необсохшей влагой на срезах, окутанные облаками душистой утренней свежести... Но почему-то всякий раз при этом Поля торопилась пройти мимо, ревниво прижимая к груди сверток в серой бумаге, единственную ношу, не доверенную никому.

Профессор в разлеталке, лихо возглавлявший шествие, повернул направо и потом еще раз вправо, в прохладную, поросшую травкой улочку с домиками под ленивыми, расклонившимися деревьями, каким положено расти только на окраинах. Здесь весело кружился тополевыи пух, запоздалая в тот год летняя вьюга, и маленькие местные жители самозабвенно ловили этот волшебный, невесомый снег, а ветерок сдувал его с доверчивых детских ладошек, и, пожалуй, весь смысл жизни в том и заключался, чтобы снова с криками гоняться за ускользающими хлопьями. Если бы

не дети, было бы там совсем пустынно, так что событием пришлось бы считать одинокого велосипедиста, который, посверкивая зайчиками, проехал вглубь тупичка. Вчерне законченный восьмиэтажный дом возвышался в этой мирной житейской заводи. Поля озабоченно взглянула вверх, где под самой крышей обитала ее Варя, и вдруг, в довершение чудес, оказалось, что лифт после длительного простоя начал работать как раз в то утро.

— Вот спасибо вам!.. — на прощанье сказала провожаемым Поля и поклонилась им с особым чувством, как если бы перед ней находились не просто попутчики, а доверенные представители доброго и умного человечества. — Мы теперь соседи, так что еще непременно увидимся и поговорим обо всем... правда?

Квартира была не заперта, но никто не выглянул на шум, пока Поля по частям втаскивала в прихожую свои пожитки. Она перевела дух и прислушалась. Где-то в глубине глухо посвистывал сквознячок и с прозрачным звуком капала вода. Несколько дверей, иные под замками, выходили в полутемный коридор. Поля постучала наугад в первую налево, и женский голос разрешил ей войти.

Опрятная пустоватая комната смотрела на солнечную сторону; через настежь раскрытое окно вся она была залита резким, почти кварцевым сияньем неба. Сидя на детском стульчике, женщина чинила вдетый на руку шелковый чулок. Вороха цветного трикотажа лежали на фанерном рабочем столе перед нею и прямо у ног, сваленные как попало. Работа была изнурительна, а женщина уже пожилая, но ей нравилось ее ремесло, потому что заказов было много и, кроме хлеба, они доставляли сознание полезности, необходимое для осмысленного существования. Когда-то она была хороша собою; тугой жгут почти белых волос, по-старомодному уложенных валиком, венчал ее чистый, очень выпуклый лоб. Поле почудилось, что не раз встречала эту женщину в компании таких же чопорных, седовласых стариков, — кажется, на колоде карт.

— А, помню: вязаный мужской жилет... вашего отца? — для верности переспросила женщина и, приоткинув картонный козырек со лба, мельком и близоруко взглянула

на гостью. — Да, я смотрела его и держусь прежнего мнения. Против судьбы не пойдешь. Он отжил свое, остается лишь распусть его на нитки.

Жесткая окончательность диагноза не допускала ни расспросов, ни возражений, и, хотя происходило явное недоразумение, у Поли почему-то сжалось сердце.

— Вы, наверно, ошибаетесь. Я только что приехала. Мне Варя Чернецова нужна... — пояснила она внезапно пересохшими губами.

Женщина снова оторвалась от работы:

— А, знаю... Вы та самая девушка из провинции... простите, с периферии, — поправила она по моде века, стремившейся уравнивать всех граждан, чтоб никому не было обидно. — Товарищ Чернецова скоро вернется, ее срочно вызвали в районный комитет Коммунистической партии, — прибавила она, и почему-то в ее устах это прозвучало в особенности внушительно и непривычно. — Присядьте... если только вы богаты временем. Через минутку я покажу вам, где она прячет ключ... а то у меня петля соскочит.

— О, пожалуйста... уж в этом-то отношении я богачка! — задорно улыбнулась Поля, и действительно, первым впечатлением от нее было — будто привезла с собою свежий прохладный воздух и уйму просторного и, не в пример городскому, дешевого времени, как другие везут из деревни масло или небеленый крестьянский холст. — Мне хоть и сто лет нипочем!

Тогда женщина попросила Полю подойти ближе.

— Какая вы еще молоденькая! — вскользь заметила она.

— Ой, что вы... — зардевшись, отмахнулась Поля. — Это я только выгляжу моложаво, а мне уж скоро восемнадцать стукнет.

— И когда же это вам восемнадцать... стукнет? — раздельно и не спуская с нее прищуренных глаз, спросила женщина.

Выяснилось, что до совершеннолетия оставалось всего два часа девять минут и — тут Поля справилась по серебряным часикам, подарку матери после окончания школы, — три секунды. Она стала горячо доказывать, что восемна-

дцать не так уж мало, — «вон Дарвин в ее возрасте уже доклады делал, а Герострат, к примеру...». По ее убеждению, свою знаменитую истину древний философ мог открыть лишь в детстве, когда босыми ногами бродил по гальке древнегреческого ручейка, а вот она, Поля, сколько ни бродила по лесу, нарочно забираясь в дебри поглуше, ничего путного пока не изобрела. Отсюда вытекало с очевидностью, как много предстоит ей сделать, чтоб не осрамиться перед лицом своего народа и внести что-нибудь свое и новое в сокровищницу человеческой культуры, несколько подзапущенную, как она намекнула, по вине мирового капитализма.

— Наверно, вы Гераклита имели в виду? — осторожно поправила женщина с чулком.

— О, конечно... я их всегда немножко путаю. Да еще, говорят, какой-то Геродот был вдобавок?.. это который же из них церковь-то спалил? Извините, я вас все от работы отрываю... — Тут Поля смутилась и стала извиняться за свою неуместную говорливость.

— Нет, все это очень интересно и важно очень... — в раздумье сказала женщина, и было похоже, что она радуется вынужденной передышке в работе. — Продолжайте, прошу вас.

— Да уж все! — еле слышно призналась Поля.

Женщина не сразу склонилась над своим чулком; кажется, еще и еще хотела слушать наивную, противоречивую музыку Полиной болтовни.

— Впрочем, если вам скучно со мною, девочка, возьмите книжку с комода...

— Ничего, я и так посижу, мне все равно надо еще привести в порядок разные свои там... ну, мысли и впечатления! — шепнула Поля.

После томительного уличного зноя приятно освежал горный сквознячок восьмого этажа. Присев на краешек чего-то, служившего вместо кресла, Поля огляделась украдкой. Главное место было отведено детской, стерильной чистоты, кровати с тумбочкой возле, где, кроме недопитой чашки молока, лежали сложенные по ранжиру и на бочок три заласканные до глянца матрешки. В гораздо меньшей, правой половине, за китайской ширмой, сгрудилось все



остальное, нужное для жизни и добывания хлеба, между прочим — манекен на деревянной ноге, во весь рост отражившийся в старинном зеркале меж двух резных колонок. С тех пор как сквозная, непоправимая трещина раздвоила его во всю длину, вещь эта относилась скорее к разряду семейных реликвий, чем мебели.

Слегка подавшись вперед, Поля заглянула в зеленоватое, потускневшее стекло и догадалась об источнике своих удач и чудесных совпадений на протяжении последних суток. Из овальной ореховой рамы на нее глядели, две сразу, забавные провинциальные девчонки лет по пятнадцати, с беспричинно сияющим взглядом и до такой степени обгоревшие на енежском солнцепеке, что и кожа, и кофейной раскраски платье совершенно сравнялись по цвету. Ясно, подобное существо и шагу не могло ступить незамеченно в таком глазастом городе, как Москва. И, значит, все они, кто потчевал ее в вагоне дорожной снедью, бегал для нее за кипятком на станциях, чтоб не отстала от поезда, кто в десяток рук втаскивал ее багаж в троллейбус и потом провозжал до Варина тупичка, — все они жалели ее той особой, не обидной, чуточку даже эгоистичной жалостью, какую простые люди возмещают горький пробел в своем собственном безрадостном детстве.

— Вы бывали прежде в Москве? — продолжая работу, спросила женщина.

— Я и родилась здесь... но четырех лет меня увезли в лесничество.

— Ваш отец служит в лесу?

— Нет, он здесь, он состоит... — почему-то замялась Поля, — ну, лесным профессором!

— Значит, вы живете врозь с отцом?

— Мама разошлась с ним, когда я была маленькая совсем. Он даже довольно известный, имеет много специальных трудов, только... человек он оказался плохой.

— Кто же посвятил вас в историю семейного разлада, мать?

— А никто.

— Тогда почему же вы думаете, девочка, что он плохой человек?

— А потому... потому что мама хорошая! — возвысила голос Поля.

И дальше не могла остановиться, пока не выплеснула всего, что, подобно илу, отстоялось на душе. Получалось одно к одному, что и наука его скучная, и профессор он, надо думать, неважный: не зря же то и дело хлещут его в лесных журналах за то, что из-за деревьев леса не видит. Ладно еще, что подружки этих статей не читают, а то затравили бы Полю насмешками да допросами, на какой помойке ухитрилась себе такого родителя подобрать.

— Его Иван Вихров зовут... не слышали? — назвала наконец Поля и с робкой надеждой подняла увлажнившиеся глаза.

Судя по тому, как оживилась вдруг женщина с чулком, ей, видимо, известно было это имя. Да, в молодые годы в Петербурге она встречала одного молчаливого студента с такой фамилией, тем лишь примечательного, что был он, помнится, кухаркин сын... Мельком, чтоб не слишком огорчать свою собеседницу, женщина помянула также, что наслышана и о вихровских неудачах от одного из своих знакомых того же петербургского периода — гораздо более удачливого, даже процветающего ныне лесоведа... И тучка грустного, нежелательного воспоминания набежала на лицо женщины с чулком. В противоположность Вихрову и в опровержение Полиного мнения о людях лесной профессии, этот человек отличался, по ее словам, на редкость живым, хоть и несколько озлобленным умом, придававшим особый блеск его общепризнанному дару даже слишком уж беспощадного анализа. Но, значит, в таких и нуждалась эпоха, если именно ему доверили вести критические обзоры в специальных изданиях, высказывать руководящие соображения, разоблачать ереси и ошибки своих товарищей.

— Этот человек — тоже профессор, и, сколько мне помнится, он рассказывал мне кое-что о Вихрове. Впрочем, я слишком далека от лесных дел и распрей... — сдержанно заключила она.

— Вы можете говорить со мной откровенно. Я ненавижу моего отца... Так что же он сказал?

Непоправимое горе светилось в глазах у Поли, и, с одной стороны, нельзя было не пожалеть это кроткое провинциальное создание, вынужденное расплачиваться за родительские грехи... но, пожалуй, еще хуже было бы обидеть его неправдой.

— Я держусь правила никогда не лгать детям. Не хочу огорчать вас, девочка, но... это была не очень лестная и даже сердитая оценка.

— Да, мне тоже попадались его статьи, — покорилась своей участи Поля, наперед зная имя прославленного критика своего отца.

— На вашем месте, — милосердно продолжала женщина с чулком, — я утешилась бы сознанием, что, во-первых, у вас еще остается мать, а во-вторых, видимо, ваш отец все же немало потрудился в жизни, если привлек к себе перо и гнев такого выдающегося ученого. Милая, не надо предаваться отчаянию: не всем же обладать талантами, а, судя по вашим семейным делам, этот Вихров вдобавок не без странностей?..

Тот же зловещий и неопределенный отзыв Поля неоднократно находила между строк в рецензиях на отцовские книги, причем, несмотря на различные подписи, иногда лишь инициалы, в их обостренном до резкости стиле легко угадывалось одно и то же авторство. Можно было любым образом объяснять существование Вихрова в лесной науке — великодушием эпохи или же, напротив, недостатком ее внимания к лесным делам, но этот сложившийся приговор уже не подлежал ни отмене, ни даже обсуждению, и лишь по наивности сердца, по бедности воображения, по незнакомству со строгими условиями века еще можно было рассчитывать на помилование.

— Но... этот ваш знакомый, он тоже долго в лесу жил? — наобум спросила Поля.

— Нет, по слабости здоровья и необходимости постоянного врачебного присмотра он почти не покидает города.

— Но, значит, он... издали предан лесу, сам пишет книги, если он все же... такой уж замечательный знаток?

Женщина с чужим чулком на пальцах должна была объяснить это мнимое противоречие.

— Дело в том, девочка, что он не совсем лесник... Я бы скорее назвала его просто выдающимся деятелем в этой области. И вообще — это человек большой трагической судьбы и разнообразнейших дарований... и в юности близкие пророчили ему будущность поэта или музыканта. О, вы еще не знаете, милая, как судьба склонна посмеяться над нашими планами! Нет, я не скажу, чтобы он был очень привязан к лесу, хотя, бывало, часами бродил по парку, приезжая к нам в имение... Впрочем, это было совсем небольшое поместье, скорее просто так, старинная хижина с колоннами, — быстро поправилась она, приметив ревнивое и пристальное Полино любопытство. — Кроме того, талантливому критику и не обязательно все знать или уметь самому, его дело в общем наблюдении. Во всяком случае, у него достаточно вкуса и культуры, чтобы судить о деятельности других: что хорошо там, что плохо. Вот уже лет восемь подряд из-за всяких общественных нагрузок он не имеет возможности закончить... я не помню темы... но один очень такой фундаментальный труд. К сожалению, у меня крайне плохая память на эти вещи, — неожиданно прибавила она, как бы отстраняясь от окончательного суждения в таких сложных и запутанных проблемах.

— А скажите, этот человек... он не родственник вам? — тихо и как-то в особенности настоятельно спросила Поля.

Вопрос был явно неприятен этой женщине. Нет, она не состояла с ним в родстве, а просто однажды в молодости, проходя мимо, они ненадолго заметили друг друга. Да и дружба-то их, если позволено назвать этим словом мимолетные отношения тридцатилетней давности, распалась еще до революции, и теперь они встречались совсем изредка, главным образом на улице, хотя та же насмешница-судьба поселила их на старости лет в одном и том же доме, правда в разных подъездах и этажах. Оказалось, что с годами при всех прочих сохранившихся достоинствах из порывистого, общительного юноши получился довольно холодный и нелюдимый в обращении человек... и Полю поразила смена оттенков — то горечи, то восхищения, то раздражительной досады — в том, как эта женщина отзывалась о главном судье ее отца, словно одновременно и жаловалась на него,

и под защиту его брала, и проклинала за какую-то непрощаемую вину.

— Вы не скажете, как его зовут? — еще поинтересовалась Поля.

— Вы же сказали, что знаете... так зачем же вам это?

— Мне для точности, если только не секрет.

— Здесь и нет никакого секрета. Его знает вся страна, — вынужденно и уже не без гордости отозвалась та. — Ну, Грацианский... а что?

— Нет, ничего... я так и знала, — без всяких задних мыслей усмехнулась Поля.

Обе, пожилая и молоденькая, замолкли ненадолго. Вот так же, бывало, в дремучих онежских лесах прежних лет встречные настороженно расходились, стараясь проникнуть в намерения друг друга. Тем временем женщина с чулком припомнила подробнее, при каких именно, ускользающих теперь, обстоятельствах она услышала впервые имя Полина отца. Странно, прежде чем оживить в ней образ человека, довольно расплывчатый за давностью той чуть ли не единственной встречи, оно сперва вызывало в памяти большую порцию малинового мороженого с вафлями, такого вкусного по жару, и вслед за тем продолговатое, залитое праздничной публикой поле Коломяжского ипподрома в Петербурге, с облачком несчастья над ним, похожего на кратковременный дождик, и, пожалуй, больше ничего, кроме полурастворившейся во времени щемящей тоски. В тот самый день, попозже, близ шести, разбился известный летчик Мациевич, первая жертва русской авиации, а за час перед тем Грацианский представил ей, восемнадцатилетней девушке Наташе Золотинской, трех своих приятелей, *мушкетеров*, причем один из них принес мороженое на трибуны, где они сидели; видимо, это и был Вихров. Его товарища, длинного и басовитого, звали почему-то Большая Кострома. И, как песчинка или шевеление ветерка в горах, слово это привело в движение подтаявшую лавину стареющей памяти.

Сперва нужно было непременно удостовериться в чем-то:

— Боже мой, Вихров, Вихров!.. ведь я тогда как раз в вашем возрасте была. Ваш отец учился в Петербурге?

— Не знаю. Он женился, когда уже стал профессором, а я еще позже родилась. Он хромой...

— Вот не помню, хромым в этой тройке как будто не было, но... он потом был арестован и выслан на север, правда?

— Я никогда не задавала маме вопросов об отце, чтоб не причинять ей боли. Только однажды я спросила ее мельком... она смутилась и сказала: когда-нибудь ты все узнаешь сама... увидишь его и поймешь сама.

— Как же могло случиться, что ваша мать не проговорила об этом ни разу, если все время вы жили вместе с ней?

Нет, они как раз не все время жили вместе: в Пашутинское лесничество к матери, где находилась ее больничка, Поля приезжала лишь на летние каникулы. Три последние зимы она прожила в семье у Вари Чернецовой, отец которой, Павел Арефьич, бывший уральский партизан, служит теперь ветеринаром при райисполкоме. Все дело в том, что в Шихановом Ям<sup>у</sup>, недалеко от лесхоза, имелась только семилетка, и потому среднюю школу Поля кончала в городке Лошкареве... ну, который при впадении в Енгу шустрой лесной речонки Склани!.. Раньше, как и Шиханов Ям, это было просто богатое раскольничье село, но в революцию, после постройки текстильного комбината, его выдвинули в города и, по слухам, собирались также фабрику киноплёнки строить, но, значит, получше нашли местечко. Оно конечно, городишко не чета Москве: и улицы травой заросли, и дома помельче... но зато воздух — хоть в бочках на экспорт гнать, зато необозримые заливные луга за Енгой, и в половодье как отразится в них опрокинутая небесная ширь, то буксиришки с плотами как бы по облакам бегут. А в лесах лось и барсук, да и рысь видали, а незадолго до Полина отъезда хитрущие тамошние мужики с Васильева Погоста притащили в лесхоз на жерди живого мишку, которого опоили медовой водкой из дуплянки, с вечера поставленной на заветной тропе. «Он сперва-то крышку лапой собьет, потом с урчаньем по земле катается, пчел по привычке давит, хоть и нету их, после чего приступает к самому пированью. Тут его сонного, пьяненького и берет, и он

лежит, повязанный, оплакивает свою долю человечьими слезами...» И сама Поля слышала, будто в стародавние времена, пока не свели подступавшие с юга березовые рощи, соловьи в окна залетывали, прямо хозяйкам во щи! Старик же подревней доньне хвастаются, будто в бывалое время по высокому берегу — не то на полтора километра, не то на четыреста, но уж никак не меньше восьмидесяти, — маленько не доходя до двинских болот, простиралась отборная корабельная сосна. Да и теперь еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку енежские-то боры, как дохнут раскаленным июльским маевом, так даже подушки ночи три подряд пахнут горячим настоем земляники и хвои... Вот как у нас на Енге!

Варя все не шла, а нельзя было обрывать рассказ в разгоне, как и песню на высокой ноте; только с птичьим щебетом и сравнить было звонкий Полин голосок.

— Нет, мы на наш Лошкарев не жалуемся... Есть у нас и стадион побегать, и Дворец труда при кожевенной фабрике, а в городской библиотеке даже переписка Микеланджело имеется. И мы еще с седьмого класса клятву дали: как в люди выйдем, городка своего не забывать и каждый месяц слать в него хоть по книжке: у нас комсомол дружный, строгий, грамотный... Правда, все у нас из дерева пока, в лесу живем, даже бронзы на памятник Ленину не нашлось... так мы отличный парк в честь его учредили. Уж шумит над головами, наш: ничего, бронза потом сама придет. А как сажали, то на каждом деревце всего по двадцать листочков было, а нынче... Вот мы всё о будущем да о родине твердим, словно за горами они. А если б каждый всерьез подзаялся ею в радиусе шажков хоть на десяток вокруг себя, — и Поля пошурилась, мысленно умножая число  $\pi$  на квадрат радиуса круга, — да прибрал бы эти триста сорок четыре квадратных метра, как комнату свою, как рабочее место, как стол, где пища твоя стоит, да кабы приласкал землю-то свою в полную силу, да хоть бы вишенку посадил, пускай одну за всю жизнь... Ой, чего можно за час в сто тысяч рук наделать! Вот я и хочу с письмом обратиться ко всему комсомолу, чтобы брали пример с нас, с лошкаревских ребят. Как вы думаете, напечатают?.. не

сочтут меня за выскочку? — доверчивым шепотом осведомилась она.

Потому ли, что слишком много знала о жизни и о Грацианском тоже, женщина с чулком не решилась взглянуть в Полины, ничем пока не омраченные глаза. Склонясь над работой, она думала о том, что никогда, пожалуй, такой длинный перегон не разделял в России двух смежных поколений.

Минутку спустя она переборола свое необъяснимое смущение:

— Вас, кажется, Полей зовут? А меня — Наталья Сергеевна. Вы хорошая, горячая, большелобая девочка... и я рада, что познакомилась с вами, — заговорила она растроганно, но почти сухо, а Поля внимала ей, вся покрасневшая и догадываясь, что сейчас услышит слова, каких не повторяют дважды. — Запомните, что я вам скажу... непонятное само разъяснится впоследствии. Когда жизнь догорает дотла, то в пепле остается одна последняя золотинка. Она бежит, гаснет, и потом наступает холод... Вот в ней-то, в той последней искре, и заключен весь опыт пройденного пути. Вот вам моя золотинка... Люди требуют от судьбы счастья, успеха, богатства, а самые богатые из людей не те, кто получал много, а те, кто как раз щедрей всех других раздавал себя людям. Что касается меня самой, я выяснила эту истину слишком поздно... — Она вопросительно подняла глаза. — Я вижу, вам хочется возразить мне?

— Не сердитесь, Наталья Сергеевна, но будет нечестно с моей стороны... если я сейчас промолчу. Это хорошо сказано, об этой... ну, о золотинке!.. Но сегодня вы уже три раза подряд назвали слово *судьба*. Мы на эту тему даже коллективное обсуждение у себя в Лошкареве провели, два дня бранились и выяснили наконец, что это — вредное слово слабых, ничего не выражающее, кроме бессилия. Так что судьбы-то нет, а есть только железные воля и необходимость.

Наталья Сергеевна улыбнулась, и за весь их разговор это была первая ее улыбка.

— Все зависит от того, Поленька, откуда рассматривать человеческую биографию, с начала или с конца. В ва-



шем возрасте мы тоже мечтали о великих делах, читали рефераты, динамитцем играли, спорили до хрипоты... и вот через тридцать лет я чиню чужой невымытый чулок, чтоб заработать на молоко для внучки. А ведь я бывала на самом вершине жизни... и, признаться, вовсе не сожалею о том, что она разжаловала меня... просто в люди! Но я не знаю, как это получилось. Человеку и свойственно меру своего удивления называть судьбою, вот. Однако вы правы в том смысле, что молодость человека длится до той поры, пока он не произносит впервые это слово *судьба* в применении к себе. — Женщина отложила законченную работу. — Если вы хотите умыться с дороги, то — по коридору вторая дверь направо. Потом тушите свет.

Целая жизнь, добросовестно оплаканная, заключалась в ее кратком, очень спокойном признании. Поле стало грустно и душно, потянуло к окну. Она подошла, взглянула сверху, — с непривычки к высоте у нее закружилась голова. Очень много неба она увидела там, и в нем изредка проплывали невесомые тополиные пушинки. Прямо внизу лежал Благовещенский тупичок с ветхой, спрятанной меж деревьями недоломанной церквушкой. Там, на лужайке, малыши водили хоровод, и, судя по тому, как живое, пестрое колечко то смыкалось, приседая до земли, то расходилось с поднятыми ручонками, то была любимая детская игра *каравай*. Звук их песенки достигал восьмого этажа, как ни глушил ее ровный гул из-за ближней вереницы зданий, где «река жизни катила свои каменные воды». Поле в особенности нравилась эта уже сложившаяся фраза из будущего письма к маме. Потом она подняла глаза, и у нее захватило дух от объемности зрелища... Перед ней лежала Москва.

Все застлала трепетная полуденная мгла с постепенным, по мере удаления, цветовым разбегом в голубую бесплотную дымку. Только глазами живописца можно было охватить это согласное множество разнородных строений, как бы струившихся в перегретом воздухе. На самом ближнем плане еще различались массивные, грубые тона материалов, из каких слагается пейзаж современных городов: лиловатые в тени, почти неразбавленные краплаки старого, обжитого бетона, — либо светлая, уже с прибавкой кад-

мия, зелень древесной листвы, потому что в разгаре стояло лето, — либо розоватая от расстояния стена кирпичной кладки на коммунальных новостройках, ступенчато пробивающихся сквозь старинные городские кварталы, — либо, наконец, стократно повторенное дыхание столичной индустрии, размытые потеки заводских дымов, сажей нарисованные в исполинском небе. Все это было сжато, втиснуто одно в другое, предельно уменьшенное до макетных размеров, чтоб уместиться в такой просторной, даже безбрежной тесноте.

Дальше простирались километры крыш, вперемежку сверкающих перепутанными гранями, — целое море крыш, подернутое, если прищуриться, слепящей радужной зыбью, — почти совсем как море, если бы в эту плывучую стихию тончайшей акварельной кистью не были вписаны то нитевые сооружения радиостанций и электропередач, то островерхие кровли вокзалов, похожих на кили перевернутых кораблей, то незащитные в стремительном натиске индустриального прогресса, полные отцветшей прелести московские колоколенки, то расставленные полукружиями и сложными кривыми фасады общественных зданий, которыми, как пунктирными мазками, обозначалось направление набережных или крупнейших магистралей. В одном просвете между ними сизым, никелевым блеском мерцала река, конечно самая красивая и полноводная на свете, потому что это была московская река!.. Еще на градус выше, на далеком холме, как бы у подножия снеговых гор, на горизонте, угадываемое скорее по сердцебиению, чем даже по знакомому с детства силуэту, вставало самое знаменитое архитектурное создание русских, Кремль, величественное нагромождение каменных плоскостей и полусфер с гигантской белокаменной колонной посреди, без вычурных изощрений Запада, но и без созерцательной лени Востока. Что-то неярко блистало на слегка сплюснутых, как бы под тяжестью неба, золотых куполах, — верно, необсохшая роса истории, как загадочно определил это в одном своем стишке Родион... Тонкий и желтый ранящий лучик оттуда, проникнув в сердце через ее расширенный зрачок, позвал Полю к себе, и она незримо вступила в древние ворота, где на мгновение ее ознобило холодком вечности.

Мысленно она обошла собрание шедевров и святынь, эти каменные ладанки, царственные и все же невзрачные в сравнении с подвигами предков, на чью грудь они были повешены в самом начале пути. Придерживая соломенную шляпку на затылке, Поля осмотрела рубиновые звезды, тем и схожие с небесными, что отовсюду видны были на планете; она попыталась также сосчитать артиллерийскую вражескую медь вдоль Петровского арсенала и почитительно коснулась знакомых ей по картинкам — колокола с осколком и самой мирной на свете пушки с ядрами, богатырских игрушек наших прадедов...

Полины впечатления о Москве ложились на благодарную почву, подготовленную рассказами Павла Арефьича. При нем, двадцать с небольшим лет назад, на Восьмом съезде Советов, была впервые произнесена крылатая формула коммунизма как суммы советской власти и электрификации, технической базы современного крупного производства. Он сидел так близко, енежский делегат Чернецов, что слышал звенящий шелест листов в ленинской руке, рассекающей воздух при этом. За семейным столом вечерами он любил еще и еще разок припомнить, как же он выглядел в ту пору, на заре, великий город, уже тогда снискавший восторженную признательность бедных, какой и проверяется сила движущей идеи, и завистливую ненависть богатых, чем всегда мерилось низменное почтение врага... По отзыву Павла Арефьича, скромна была в те годы внешность Москвы, хотя советский народ, вступавший в пору почти вулканического извержения ценностей, мог бы в одну пятилетку одеть ее нарядней младшего северного брата, которого два века сряду холила и обряжала вся империя... Собственно, Поля и ехала сюда с намерением посвятить себя целиком приукрашению своей столицы.

Она растерялась, как все опоздавшие к началу великого дела. Все пространство до горизонта было уже застроено, ни местечка не оставалось там для ее собственных замыслов, родившихся в жарких спорах с товарищами или на страничках девичьего дневника. Казалось, город уже созрел для вечной славы и теперь нуждался разве только в необыкновенных подвигах, которых Поля вовсе не умела. Она почувствовала себя ничтожней ребятешек, там, внизу, стара-

тельно выполнявших свои маленькие обязанности. И когда снова перевела на них глаза, увидела наконец свою Варю; та изо всех сил пробивалась сквозь блокаду обступавших ее малышей.

Поля ринулась вниз по лестнице. Лифт уже не работал из-за обеденного перерыва. Подружки столкнулись на площадке третьего марша и затем, обнявшись, стали добираться до квартиры.

— Ты извини, но я же знала, что ты у меня смышленная, что ты доберешься и одна! — говорила Варя, с материнской лаской вглядываясь в подружку. — Понимаешь, выбрали секретарем организации, и вот просто минутки не остается для себя. И, кстати, такой суматошный день сегодня...

— Какие-нибудь неприятности? — всполошилась Поля.

— Напротив, все очень хорошо. Даже голова кружится, такая отличная жизнь настает! Так спешила домой по жаре, вся мокрая. Да еще эти противные маленькие гражданята всякий раз проходу не дают... У меня тут вся окрестная детвора в приятелях! — И тихонько усмехнулась, крайне довольная перечисленными обстоятельствами.

## 2

Действительно, дружбу с детьми Варя заводила с полуслова, такое доброе человеческое тепло постоянно излучалось из нее. Домашние шутили, что со временем Варя обзаведется семьей в тридцать восемь человек, причем все будут обшиты, обмыты и накормлены; более умеренные представления о семейном благополучии как-то не вязались ни с расточительной щедростью ее сердца, ни с самим обликом ее. Варя была крупновата, а большое, сильное тело требовало и соответственной нагрузки. Наверно, счастье ее уже и осуществилось бы, будь она чуть покраще с лица, несколько плоского, с тонким разрезом рта и широко расставленными глазами. Она выглядела бы куда естественней, если бы из стен столичного педагогического института перенести ее куда-нибудь на выжженные склоны Тянь-Шаня, посадить на мохнатого конька да пустить против

полуденного ветра с камчой в руке и ниткой бус на загорелой шее. Мирясь со своей внешностью, Варя и не стремилась приукрасить себя, а волосы носила гладко, без пробора зачесанные назад, но даже ее белый, всегда туго накрахмаленный воротничок на скромном и темном платье выглядел попыткой чуть посплести несправедливость природы.

Варя засыпала приезжую тысячью вопросов о лошкаревских новостях, о родных и соседях, о милom дальнем лесе, и еще — кто теперь в комсомоле орудует за главного и постарела ли учительница Марфа Егоровна, та самая, по которой за отсутствием башенных часов лошкаревцы проверяли время, и даже как чувствует себя Балуй, неизменный спутник всех охотничьих достижений Павла Арефьича, — словом, обо всем и, желательно, в мельчайших подробностях, каких не перескажешь в самом обстоятельном письме.

В ответ полилась пестрая Полина скороговорка. Оказалось, Павел Арефьич по-прежнему неутомимо катает на велосипеде по всему району, хотя, сдается, все еще тоскует по жене, Вариной мачехе, а соседка Зоя Петровна, что у Чернецовых во дворе четвертый год живет, прислала Вáрюшке, своей любимице, енежского медку по старой памяти и домашней сушки грибков, чтоб не тратиться зря в столице, а Марфа Егоровна, как и раньше, в мужских калошах шлепает по осенним грязям в школу, но что-то стали ее часики припаздывать на минуту-другую в сутки, а Балуй и совсем плох, за курами не гоняется, а только чихает да к печке тянется...

— Да и мамочка моя, уважаемая Елена Ивановна, тоже немножко подалась в ту же сторону, — продолжала Поля, выкладывая гостинцы из чемодана. — Внешне-то и не скажешь худого, только еще построже стала... но как провожала меня, отозвала в проулок у пакгауза и всплакнула украдкой... А казалось бы, о чем ей теперь слезы лить? И главное, вся сразу такая маленькая сделалась, болтливая на жалкое слово, никогда с ней раньше такого не случалось.

— Не огорчайся, Поленька, всегда так бывало. Старое стареет, а молодое постепенно выходит в первую шеренгу...

В остальном, кроме мелочей, все обстояло благополучно. В прошлую зиму окончательно дорубили и ту часть Облога, что еще оставалась перед речкой Горынкой, так что теперь с Шабановой горы, которая возвышается над пристанью, стала видна дылдистая труба новой электростанции, что на Васильевом Погосте. «Оно и попривольней как-то сделалось без леса-то, и вид на индустрию открылся, но, знаешь, Варенька, в душе чего-то вроде и поубавилось...» И такие теперь верховые ветры обрушиваются на город Лошкарев, что недавней бурей сорвало шпиль с каланчи, хотя он и не нужен в настоящее время, а у заслуженного врача республики Гаврилова унесло его знаменитую черную шляпу, и она у всех на глазах летела до середины Енги, пока не пропала в сердитой пенистой волне. Кроме того, с той поры шибко воеет в трубах по ночам, и старухи, не сведущие в метеорологии, шепчутся в очередях, будто это Горынка со Скланью убиваются по сосенкам, унесенным вешними водами, кажется, в Казахстан. Впрочем, плоты этого года внезапно обмелели, не дойдя до Волги, так что их вручную снимали с переката.

— Значит, Пустошá тоже свели? — огорченно спросила Варя.

Нет, если не считать самого краешка, Пустошá стоят пока неприкасаемо, во всей своей сытой и рыжей красе. А в колхозах кругом словно с ума посходили: строят, да женятся, да песни поют. В самом Лошкареве временно кино открылось в бывшей трапезной Премиловского монастырька... но поленились старую штукатурку прокупоросить, и накануне Полина отъезда сплетничали местные старушеницы, будто какие-то старинные святители своевольно, каждый сеанс, проступали на экране среди действующих лиц, так что заведующему даже сделали внушение из области. И потом, забыла сказать в суматохе, все кланяются Варе: и слепенькая Прасковья Андреевна, и киномеханик Петя Чмокин, наиболее корректный в городе Лошкареве танцор, который в этом году уходит на военную службу, и все семейство Ермаковых, одиннадцать душ, и директор краеведческого музея Гвидоненко, собственными силами открывший два зуба и позвонок некоторого ископаемого чудовища, и Ниночка Цыпленкова — присланной Поле запиской,

потому что накануне увезли ее в родильный дом... словом, все помнят милую Вареньку, кроме одного, от которого как раз больше всего хотелось бы Вале получить поклон.

— Однако хоть и шлют приветы, но обижаются, что мало писем пишешь, ждут с дипломом назад, на место старенькой Марфы Егоровны... — закончила Поля, любуясь на разложенные гостинцы, и вдруг с изменившимся лицом метнулась к забытому впопыхах свертку в серой грубой бумаге.

Казалось бы, Варя была ей родней сестры, однако же свой подарок Поля раскутывала с опаской заслужить пусть хоть необидный смешок. Но Варя все сразу поняла и благодарно прижала к груди скромный Полин дар. То был снопик простеньких полевых цветов, перевязанный ленточкой с конфетной коробки. Всего там нашлось понемногу: и полевая геранька, раньше прочих поникающий журавельник, и — с розовыми вялыми лепестками — дремка луговая, и простая кашка, обычно лишь в виде прессованного сена достигающая Москвы, и жесткий, скупой зверобой, и желтый, с почти созревшими семенами погребок ярутки, и цепкий, нитчатый подмаренник, и еще десятки таких же милых и неярких созданий русской природы, собранных по стебельку, по два с самых заветных, вместе исхоженных лугов. Это походило на кроткое благословение родины, залог ее верной, по гроб жизни, любви.

— Их бы в воду теперь, хотя я их всю дорогу в чайнике и держала. Истомились от жары, бедные! Просто не знала, Варька, что тебе привезти...

Погрузив лицо в цветы, Варя улыбалась ей своими монгольскими, в ту минуту по-женски привлекательными глазами. Жизнь еще теплилась в этих обвядших травинках, а в золотых кувшинчиках зябры еще не высохла и капелька меда, а смолка еще липла к пальцам, а пушица не утратила своего шелковистого тепла.

— *Eriophorum vaginatum!* — почтительно произнесла Варя, и, верно, никогда так проникновенно не звучала Линнеева латынь; вдруг вспомнилось, что только на другом берегу, на заболоченной пойме, росла у них пушица. Она ужаснулась размеру подвига: — Безумная, ты для этого ездил за Енгу?

— О, я туда на лодочке, быстро!.. — и сама вся свети-лась отраженной радостью подружки. — Знаешь, они еще живые... их только надо в воду поскорей!

— Ты бесконечно милая, — с закушенными губами сказала Варя и, отвернувшись к окну, влажными глазами посмотрела во глубину родной земли, в крохотную, еле проставленную на картах точку.

Тем временем, чтоб не мешать подруге, Поля делови-тым взором обежала комнату, где ей предстояло жить.

Собственно, окна у Вари не имелось, его заменяла стек-лянная балконная дверь. Дом заселили до окончания стройки, и в проеме, между железных перекладин балкона, сразу открывалась пропасть с залитой солнцем, длинной улицей внизу. Ее желтоватый, послеполуденный отсвет смут-но отражался в потолке: комната глядела на запад. Она бы-ла гораздо теснее предыдущей, так что вторая кровать, на-кануне взятая у соседки и еще без подушки, занимала весь излишек Вариной жилплощади. Зато, если у Натальи Сер-геевны во всех мелочах обстановки сквозила застарелая, непреодолимая сложность, здесь легко, без примечаний, читалась жизнь советской студентки, поставившей себе простую и ясную цель. И вот с чем она отправлялась в до-рогу: окантованная, на стенке, фотография вождя на ска-мейке в Горках, и под нею, чуть поменьше, ее любимый Дарвин с мальчишескими глазами, потом платяной шкаф-чик в углу, стопка книг на столике, этажерка с вещичками самого неприятельного обихода... все, кроме зеркала.

— Теперь рассказывай о себе, — приказала Варя, когда букет был заправлен в склянку. — Я так и не поняла из твоих писем, куда же ты решила поступать.

— Тогда уж я с самого начала... можно?

— Надо всегда с начала... и чем короче, тем ясней. — Варя всегда старалась говорить точно и понятно, словно диктовала на пробном уроке в классе. — Только имей в ви-ду, через полчаса я снова должна уйти по срочному делу.

Оказалось, виднейшие лошкаревские граждане приня-ли участие в выборе Полиной профессии, но все советы их пришлось отвергнуть ввиду крайней противоречивости. Так, например, доктор Гаврилов настаивал на физике и даже на астрофизике, этой единственной из наук, способ-



ной в ближайшие полвека дать ответ на все основные вопросы бытия, о которых, по его мнению, так вразнобой и так недоступно для простого люда мямлит философия со времен туманного Фалеса...

— И в общем, Варька, я согласна с этой оценкой. За три тысячи лет сколько они сил потратили, эти философы, а не пришли к единому мнению даже в таком простом вопросе, как... ну, существуешь ты, к примеру, вне меня или ты только совокупность моих ощущений... подобно тому как ложные солнца по теории относительности образуются на пересечении звездных лучей, — пояснила Поля и даже показала на пальцах, как ей самой представляется это, а Варе стоило большого труда удержаться от улыбки: в Полиной речи она слышала знакомые лошкаревские голоса, и среди них громче всех выдавался рассудительный басок главного из Полиных сверстников мыслителя, Родиона Тиходумова. — Только, пожалуйста, не улыбайся, милая. Я, конечно, маленькая, но я тоже имею право знать, *кто я, откуда я и, наконец, зачем я...* а то еще так и помрешь глупой деревяшкой!

— Как поживает Родион? — кротко спросила Варя.

— Ничего, все худеет. Накануне отъезда мы с ним поссорились на всю жизнь, — наотрез бросила Поля.

...С другой стороны, товарищ Валтасар, заведующий райздравотделом, уговаривал Полю посвятить себя медицине и таким образом ускорить процесс изживания социальных недугов, доставшихся нам по наследству от старого мира. Были также высказаны неотразимые доводы в пользу химии, животноводства и даже железнодорожного транспорта. Сама же Поля сперва склонялась в сторону литературы, чтобы описать обычаи горцев и гордые предания ихней старины с точки зрения современности, но ее отговорили, как отговорили и от намерения стать художницей для создания эпохальных полотен о передовых заводах и крупнейших электростанциях, поскольку как-то неловко заниматься рисованием обыкновенных пейзажей в наше переживаемое время. Впрочем, Родион очень едко подметил, что произведения о технике живут, пока не высохла краска на холсте, и по мере развития социалистического производства и приближения к коммунизму будут диалек-

тически становиться карикатурами на могущество и героюку нашего народа. «Тут переменная функция... понимаешь? — значительно намекнула Поля. — И придется каждый год подновлять немножко такие произведения, чтоб не состарились».

Кроме того, по ее мнению, спрос на живопись должен значительно подсократиться в будущем, потому что при скоростном выпуске художественных произведений просто не хватит музеев на земном шаре, и тогда придется хранить уже законченные сокровища в штабелях, на открытом воздухе; что же касается частного потребления... Она рассказала, что, когда Павлу Арефьичу к шестидесятилетию поднесли портрет магнитогорского металлургического комбината во многих красках и с массой труб, он тут же подарил его в только что открывшийся клуб текстильщиков, у себя же на стене оставил прежнюю *цыганочку*. «Представь, губастая дивчина в монистах и с бубном, а ведь, казалось бы, такой передовой человек!» Однако все идет к лучшему, успокоила Поля свою подружку: именно тогда-то общество и кинет армию художников на оформление социалистического быта — жилищ, одежды, утвари, самых обыкновенных вещей, повседневно, и не менее чем книги, воспитывающих вкус, эстетическую требовательность и, в конечном итоге, моральный уровень тружеников.

— Я твердо верю, Варя, что коммунизм призван истребить боль, зло, неправду, то есть все некрасивое, бесформенное, низменное... и, значит, коммунизм, кроме всего прочего, есть совершенная красота во всем, — несколько менее связно, из-за отсутствия Родиона под рукой, распространялась Поля, а Варя с тревогой и не без удовольствия прислушивалась к этим крепнущим голосам из завтрашнего дня. — Запомни мое слово, Варя: любое, самое скромное изделие, кроме марки завода, будет носить и метку мастера, так что о нем будут писать рецензии, как о книгах и спектаклях. Именно поэтому хорошо обработанная капитель общественного здания нужнее десятка посредственных картин, содержание которых зачастую дешевле и умней выразить типографским шрифтом. Ну и влетело нам с Родионом от ребят за эту крайность... Теперь брани ты.

— Видишь ли, я не могу решить это сразу, — отвечала Варя, поглядывая на часы. — И ты рассуждаешь так, словно коммунизм уже построен, а ведь имеются еще злые люди, которые хотели бы отнять у тебя право на будущее. Я поняла твою мысль, твой протест против перегрузки художественной ткани утилитарными заданиями, но... не надо сердиться, если художника приглашают поработать сперва над оформлением общественной мысли, прежде чем приняться за оформление вещей. Конечно, кистью работать приятней, чем лопатой, но все же лопатой — легче, чем ружьем... правда? — Она всегда перемежала свою речь паузами, чтобы ее воображаемые маленькие собеседники успевали следить за нею.

Спор углубился, Поля пыталась возражать. В конце концов не поверхностным изложением идеи, а лишь глубиной постановки вопроса и совершенством исполнения удавалось искусству прошлого прославить свою эпоху. Она называла имена, стили, отдельные произведения, и можно было сделать вывод, насколько разносторонним, кроме своей любимой математики, был ее Родион. Приятельницы поладили на том, что чем значительнее нагрузка на искусство, тем выше должно быть его качество.

— Да откройся же наконец... куда ты собираешься идти?

— В архитектуру... а что? — покосилась Поля, облизав пересохшие губы.

Варя в раздумье поправила уголок клеенки на столе. Ей не хотелось отговаривать, она лишь намекнула, что, требуя мастерства от художников, она забывает про тройную ответственность зодчих, чьи каменные творения нередко, к сожалению, переживают все остальные памятники эпохи. Можно не читать торопливых, недобросовестных книг, не посещать дурных спектаклей и выставки посредственных картин, но люди не могут ходить с закрытыми глазами по городам, застроенным плохими зданиями.

— Впрочем, Аполлинария, если ты чувствуешь призвание в себе и силы... Ты привезла какие-нибудь свои художественные работы? Покажи.

Раскидывая платя и белье, Поля достала со дна чемодана рисунки, сделанные на картонках канцелярских папок и меловых обложках старых журналов.

— Только, чур, не смейся... ладно? — и со страхом ждала приговора.

— Ну что ж, это совсем неплохо... из тебя, пожалуй, выйдет толк. — Уже Поля протягивала ей второй и третий, а Варя все держала первый, оказавшийся сверху. — И знаешь... подари-ка мне вот этот, ладно?

— О Варька, я сделаю тебе гораздо лучше! — обрадовалась Поля успеху своего первого испытанья.

— Нет, мне хочется именно этот. — И неожиданная для нее краска смущения выступила в Варином лице. — Он очень похож тут. Как живой, если бы не эти закрытые глаза. Это Коля Бобрынин?

— Нет, что ты! — ужаснулась Поля. — Это же Антиной.

— А-а... — облегченно вырвалось у Вари. — То-то меня поразило, что у него зрачков нет, как у мертвеца. Но все равно, я отбираю это у тебя на память... о первых шагах архитектурной знаменитости.

Не дожидаясь авторского согласия, она сунула рисунок в ящик стола и, чувствуя на себе вопросительный взгляд подруги, самым невозмутимым тоном спросила что-то о Родионе. Маневр удался на славу, и Поля по-детски забыла про этот незначительный эпизод. О, Родион... если бы Варя знала, как он вырос за последний год! Лошкаревские педагоги просто избегали спрашивать у него уроки, потому что он отвечал с обстоятельностью, которой они не в состоянии были проверить, и сам задавал вопросы, заставлявшие их терять душевное равновесие. Между прочим, он наполовину решил одно головоломное уравнение, над которым бились самые головастые математики прошлого века, да так и не добились ничего. Кстати, за два дня до ее отъезда Родион уехал в Казань для поступления на физико-математический факультет.

— И ты, пожалуйста, не шурься, Варька, но представь себе, этот долговязый мальчуган вздумал утверждать передо мною...

— Ладно, ты мне доскажешь потом историю вашей ссоры, — прервала Варя, поднимаясь. — Какая у тебя программа на сегодня? Может быть, съездишь со мной на биологическую станцию?

— Мне надо сделать кое-какие покупки, — уклонилась Поля.

— Отлично. Тогда обедать будем вместе, в шесть. Будь добра, не опаздывай и не заблудись. Во всяком случае, я подожду тебя с обедом.

Разговор закончился вовремя: электрический чайник уже закипел на столе, а через край ванны тоненькой струйкой начинала переливаться вода.

### 3

Поля еще в дороге составила расписание действий, куда входило посещение театров, художественных галерей, архитектурных памятников и, в первую очередь, Мавзолея Ленина, этой заглавной страницы в большой книге, куда предстояло и ей вписать собственное имя. Но список был рассчитан на длительный срок до начала занятий, и, перед тем как приступить к генеральному обходу столицы, ей хотелось привести в исполнение некоторые свои ребячьи причуды, за последние полгода сложившиеся в неоодолимую потребность.

У Родиона на чердаке, где из голубятни открывался богатейший вид на Енгу и где втайне от всего мира читал он Поле свои стихи, среди пыльной рухляди и в кипе до-революционных еженедельников она наткнулась на часто повторявшееся объявление одного профессионального астролога. Будучи в близких отношениях с потусторонними сферами, он за рубль девяносто пять копеек почтовыми марками предсказывал будущее, произвольно умножал доход клиентов, отрачивал на плешивых незаурядные волосы, бесследно изгонял страдания, бессонницу, вредных насекомых, детские пороки и совершал многое другое, что может придумать проголодавшийся плут с небогатой фантазией. Судя по напечатанному сбоку изображению сравнительно молодежьей личности в чалме и с исходящими из чела молниями ясновидения, ему теперь было бы не свыше шестидесяти, и если только за годы революции не оказался замешанным в менее благовидные предприятия, он вполне мог бы сохраниться и до нынешнего дня. Поля сберегла пожелтевший адресок с намерением утолить при случае

свое законное любопытство безгрешно-чистого существа к биологии и быту вчерашней жизни. Именно ввиду того, что уже не застала в своей стране отживших профессий — царей и банкиров, водовозов и свах, — а факир этот был единственным из обломков прошлого, доступным для обозрения, ей представлялась последняя возможность под выдуманым предлогом постучаться к нему в дверь и с тем же смешанным чувством почтения и страха, с каким разглядывала палеонтологические древности у Гвидоненки, заглянуть в тусклые, как бы не промытые спросонья очи таинственного *старого* мира.

Вторым того же рода предприятием был у Поли намечен визит к отцу. Она не была знакома с ним даже по фотографиям, а мать, видимо из нежелания ворошить прошлое, воздерживалась в присутствии дочери от оценок своего бывшего мужа. Однако, судя по редким и всегда недоброжелательным статьям в специальной печати, это был угрюмый, несговорчивый, устаревшего мировоззрения человек, далекий от понимания задач современного лесного хозяйства... и дай бог, чтобы описываемые там промахи да ошибки получались у него бессознательно! Надо думать, в сочетании с неуживчивыми чертами характера это и стало причиной распада семьи. Не желая вникать в обстоятельства той загадочной истории, Поля безоговорочно принимала сторону матери, фельдшерицы в межрайонной больничке, незаметной и всеми уважаемой труженицы. Кроме печатных отзывов, в основу заочных Полиных представлений об отце легло одно краткое, как промельк при свете молнии, воспоминание раннего детства.

Всякий раз, когда среди душной летней ночи слышала замирающий клик паровоза, в Полином воображении неизменно возникали пузырьки горьких лекарств, выпуклые очки с колючим блеском на массивной золотой оправе и за ними выцветший, безразличный взор человека, склонившегося над ее кроватью; Поля болела корью перед самым бегством Елены Ивановны на Енгу. Ни у кого в Лошкареве не имелось таких дорогих очков, на самом деле принадлежащих врачу и ошибочно отнесенных к Вихрову, и примечательно, как самый металл их, условиями воспитания и ходом политических событий скомпрометированный